Елена Арсеньева

Возлюбленные великих художников

Исторические повести о любви

SHOUT
SHARE
IT

- Елена Арсеньева
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Елена Арсеньева
Тайное венчание
Николай Львов – Мария Дьякова

Санкт-Петербург, 1783 год

Ну, что делать, чему быть, того не миновать, а против судьбы, знать, не попрешь! – размышлял Алексей Афанасьевич Дьяков, бригадир и обер-прокурор Сената, покачиваясь на подушках кареты и исподтишка поглядывая на сидевшую напротив дочь, разряженную так, что убор ее глаза отцовы слепил. – Вот они, Дидоны-то[1] ваши! Вот они, ваши театры! Я говорил! Я так и знал, что до добра это не доведет!»

Он вспомнил недавний разговор с двумя зятьями, Василием Капнистом и графом Стейнбоком, за которых выдал старших дочерей: Александру и Катерину. При разговоре присутствовала и жена, хотя это было против обыкновения Алексея Афанасьевича, баб к делам ответственным не подпускавшего. Но тут без женского участия никак обойтись нельзя было, поскольку решалась судьба дочери Маши. Все-таки неловко, согласитесь, господа хорошие, девку замуж выдать, с ее мамашею не посовещавшись.

А с другой стороны, сколько уж раз советовался бригадир и обер-прокурор Дьяков со своею бригадиршею и обер-прокуроршею относительно пресловутого Машиного замужества! И всегда они с женой были единодушны: *этот человек* не для нее. Кто – она и кто – он?!

Обер-прокурор почуял неладное с первой минуты, как увидел его четыре года назад. Тогда Василий Васильевич Капнист, в ту пору еще жених Александрины, ввел в дом Дьяковых своего задушевного приятеля, Николая Львова, с которым познакомился, обучаясь в полковой школе Измайловского полка и пописывая стишата в рукописный журнал «Труды четырех разумных общников».

Сразу оговоримся: против изящной словесности вообще и ее сочинителей в частности господин Дьяков ничего не имел. Однако это ж какая разница, вы подумайте! Василий Капнист уж написал так написал для разминки пера своего – не что нибудь, а

«Ode a l'occasion de la paix conclue entre la Russie et la Porte Ottomane a Kaynardgi le 10 juillet annйe 1774»[2]. Ну а первые вирши Львова, в упомянутом рукописном журнале помещенные, назывались зело многомудро: «Хочу писать стихи, а что писать, не знаю». Творение Капниста вышло отдельной книгою, однако ни в одной книжной лавке невозможно было сыскать поэзы красавчика Львова. Их, видите ли, девицы по альбомам да по тетрадкам списывали, сии чувствительные стишата:

…Вот сей-то прелестью волшебною мутится
мой дух, когда я зрю тебя перед собой.
Из жилы в жилу кровь кипящая стремится,
теряются слова, язык немеет мой!
Понятно, кем строки сии были вдохновлены!

Господин обер-прокурор при виде нового гостя немедля скосоротился, ибо милашек мужского пола он на дух не переносил, а этот… Что Капнист собой пригож, это ладно, он хоть богат, поместья его малороссийские многое дозволяют, многое прощают, даже и чрезмерное благообразие, мужчине вовсе не потребное и даже вредное. А у этого Львова из богатств – одно лишь убогонькое сельцо Никольское близ Торжка, на берегах болотистой, осокой поросшей Овсуги. Всяк сверчок знай свой шесток! Но и недостаточный Львов туда же, в красавцы подался! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Хотя… что и говорить: и ростом он высок, и глаз горит синим прельстительным огнем, и станом строен, и волосом светел, и ликом чист.

А в разговоре каково смел, каково речист! Ну еще бы – только что из дальних стран, всякие там Италии да Франции, да Неметчину вдоль и поперек изъездил-изошел, соловьем разливался о Дрезденской галерее, о колоннаде Лувра и, конечно, о Риме, отечестве искусств и древностей. Ну, добро бы только взирал на величавые формы Колоссео и Эскуриала, так он еще по театрам во Франции, отечестве всякого непокоя и вольнодумства, шлялся! Не токмо классические трагедии зрел, но даже и модные комические оперы. А ведь не для того ездил, чтобы восемь месяцев в пустых забавах проводить: по делам Коллегии иностранных дел, в коей состоял чиновником VIII класса.

Серьезный это человек? Никак нет, господа!

Да и происхождения малый сей был не бог весть какого. Сын отставного новгородского губернского прокурора Александра Петровича Львова и жены его Прасковьи Федоровны, урожденной Хрипуновой. Правда, родня у него в Санкт-Петербурге

влиятельная: двоюродный его дядя Михаил Федорович Соймонов – химик, геолог, возглавлявший Горное ведомство и Горное училище, он и приютил, он и лелеял, как сына, своего провинциала-племянничка, когда тот, чуть сравнялось ему восемнадцать, прибыл в Петербург – для прохождения действительной службы в Преображенском полку и получения образования. Надоело, конечно, киснуть в глуши. Вот и лез из кожи вон, прибиваясь то к одному дому, то к другому, втираясь в приятели к богатым да знатным, способным да талантливым, вроде Капниста да Хемницера, с которыми сдружился еще в полковой школе Измайловского полка, где проходил начальное военное обучение. Ну и понятно, загорелось этому выскочке взять в жены одну из первых петербургских красавиц, одну из самых завидных невест – Машеньку Дьякову. И мало что хороша сказочно, мало что умница, да ведь еще и голос… Небось на сцене составила бы себе состояние таким голосом.

Посватался к ней Львов – и получил отказ.

Посватался вдругорядь – ответ не изменился.

А как могло быть иначе? Разве он Машеньке пара? Нет!

Так и провозгласил обер-прокурор, ничуть не сомневаясь, что жена его с ним будет согласна.

Она-то была согласна, спору нет. А вот Машенька…

Тогда впервые усомнился Алексей Афанасьевич в уме дочери, о коем был столь высокого мнения. Она – поверить невозможно! – готова была выйти за Львова! С радостью, сказала она, с радостью! Люблю-де его и жизни без него не мыслю.

Дьяков и руки врозь. Откуда это на его голову?!

Жена тоже глаза вытаращила. Знать не знала о такой нелепой склонности дочери. Да ведь пять девок в доме, пять сестриц, пять девок на выданье. Одна другой краше да смелей – ну разве за всеми углядишь?! А грех в нынешнем веке уже по углам не таится: так и свищет, так и рыщет, со всех сторон к добрым людям цепляется. Матушка Екатерина, ее императорское величество, по заслугам прозывается великой государыней, ничего не скажешь, однако же не токмо благие веяния от двора исходят, но и тлетворности распутные. Это всем известно, хоть в приличных домах, вроде обер-прокурорского, вслух о таком не говорят.

Ну да, голова-то ведь – она одна, ежели кому надоела – то молоти языком!..

По прокурорскому мнению, дочек следовало бы безвыходно-безвыездно в светелке держать. Однако попробуй заикнись об этом: прослывешь медведем косматым и будешь осмеян светом. К тому же сама матушка-императрица как-то раз услышала Машино

пение и многажды потом его расхваливала. Ну разве запретишь после этого дочке горло драть на любительской сцене? В ту пору среди светских людей, увлеченных литературой и музыкой, модно стало сочинять стихи, подходящие к музыке популярной, бывшей на слуху у всех. Это называлось «сочинением на голос», то есть на мелодию, напев. Подобные стихи даже печатались в журналах, как «песни на голос» такой-то песни. Музыкальной основой выбирались и иностранные романсы, и русские песни, и даже псалмы и канты. Обер-прокурор знал, что этакие забавы писали вполне приличные господа, двором обласканные: Нелединский-Мелецкий, Дмитриев, Капнист, упомянутый не единожды, знаменитый сочинитель Карамзин. Тут же и Львов вертелся, в обществе сем, которое и сочиняло, и пело, и в домашних музыкальных спектаклюсах участвовало. Все пятеро дочерей обер-прокурора играли в них. Да и сын Николай, любитель музицировать и ноты сплетать в мелодии, в стороне не остался. Ну а Маша с ее голосом заслуженно считалась примою.

Уповал Дьяков лишь на то, что оперы сии ставятся в приличном доме господина Петра Васильевича Бакунина-меньшого, сановника, дипломата Коллегии иностранных дел. Эх, эх, не знал он в ту пору, что именно господин Бакунин некогда пристроил Николая Львова курьером в Коллегию, да и потом оказывал ему всякое покровительство, пока тот не дослужился до первого своего чина. Ну и неудивительно, что именно у Бакуниных Маша со Львовым свиделась и познакомилась.

Этот франтик тогда только заявился из-за границы и понавез всяческих модных нот и пиес, от коих молодежь, да и народ постарше, попочтенней с ума сходил. Привезена была и комедия Реньяра «Игрок», и комическая опера Саккини «Колония» на текст Фрамери. Сам Львов для бакунинского домашнего театра тоже написал оперу «Сильф, или Мечта молодой женщины», содержание которой было почерпнуто из комедии французского драматурга де Сен-Фуа – стремление к счастливой супружеской жизни. Для Львова это был, конечно, вопрос животрепещущий.

Люди из самого высшего общества не гнушались бывать у Бакунина на постановках. Поглядев, какая сбирается публика (бывал там даже Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны и сам некогда фаворит ея же), почтили постановку «Игрока» и «Колонии» и обер-прокурор Дьяков с супругою. Восхитились Машенькой: в «Колонии» она играла роль поселянки Белинды. Львова же, в «Игроке» певшего партию благородного Жеронта, едва можно было отметить – ну разве что ростом он выделялся, а миловидность его вся была гримом перемазана.

Ну что ж, хоть сам Дьяков Львова не разглядел, зато дочка его ох как разглядела… и с тех пор только его одного во всем белом свете и видела! А толку-то?

Отец был неколебим. Запрет – строжайший запрет! – был наложен на визиты сего господина в дом обер-прокурора. Однако ж Маша и Львов видеться продолжали – на балах, на гуляньях, на катаньях, ну и все у того же Бакунина. Конечное дело, надо было девку в чулане запереть да розгами отходить, чтоб никаких ей опер, никаких комедий, чтоб только и могла по струнке ходить да лепетать: «Как скажете, папенька!» Но что сталось бы с Дьяковым, коли прознали бы о сем при дворе? К тому же любимец отцовский, Николай, за сестру вступался, девки-дочки дурными голосами верещали: вы-де, папенька, тиран, деспот и Зоил!

Выучил грамоте на свою голову, поначитались разных Сумароковых…

Ну, пришлось позволить Маше ездить к Бакунину, тем паче что и сам Петр Васильевич заискивал в сем и уверял: без Марии-де Алексеевны никому не спеть Дидону.

Конечно, можно было придраться, не пустить дочку участвовать в новом спектакле… И повод имелся! Ведь автором «Дидоны» был кто? Иван Княжнин, опальный драматург, судимый военным судом за растрату казенных денег и приговоренный к повешению. Однако за него ходатайствовал маршал Разумовский, и смертную казнь отменили: Княжнина разжаловали в рядовые солдаты и определили в Санкт-Петербургский гарнизон. «Дидона» была его первым сочинением, а вторая драма, «Владимир и Ярополк», была запрещена императрицею якобы из-за «многих театральных неисправностей» пьесы. Впрочем, всякому было ведомо, что Екатерина-матушка на самом деле недовольна политическим подтекстом сочинения. И правильно, мыслимое ли дело – подрыв веры в непогрешимость монаршей власти! Княжнин был осужден.

Понятно, что постановка «Дидоны» у Бакунина наделала много шуму. Мало того, что блистал здесь актер Дмитриевский, который находился в зените своей славы, – голос Марии Алексеевны Дьяковой в очередной раз произвел фурор. Немало денег было потрачено на эффектность зрелища. Чего стоила одна картина горящего Карфагена, в огонь которого бросалась в финале Дидона, сиречь Машенька, разлученная с любимым и не пожелавшая за немилого идти!

А спустя некоторое время содеялся в доме обер-прокурора свой собственный Карфаген.

Львов, видимо, окрыленный успехом на подмостках, снова появился с предложением руки и сердца.

– Ни-ког-да! – был ответ Дьякова.

– Почему? – нагло спросил Львов.

Дьяков был настолько потрясен сей неучтивостью, что даже снизошел до ответа:

– Да потому, сударь, что человек вы несерьезный. Неуч. Числитесь в Иностранной коллегии, ну так и трудитесь там. Однако же чем только не занимаетесь! И геолог вы, и строитель, и пиит, и музыкант, и у мужиков песни выспрашиваете да переписываете, и дома строите, и картинки к книжкам рисуете, и… Туда-сюда кидаетесь, а это солидному человеку, отцу семейства, невместно. Посему подите прочь и более не являйтесь.

Бледный, с измученными глазами, с дрожащим ртом, жених удалился. Разумеется, его не допустили повидаться с Марией Алексеевной – еще чего! Она ждала решения родительского в своей спаленке.

– Вы, папенька, видать, смерти моей хотите? – спросила устало, когда услышала, что Львову снова пришлось удалиться ни с чем. – Неужели не понимаете, что я ни с кем больше не пойду под венец, только с ним одним? Или умру!

– Что? – разбушевался Дьяков. – Грозить мне вздумала? Не отдам за этого нищего!

– Не в деньгах счастье, – проговорила Маша. – Горько мне, батюшка, милый, что вы меня на золото да серебро поменять хотите. Все выгадываете что-то, словно на базаре…

От такого непонимания обер-прокурор обезголосел. Только мысленно смог выплеснуть обиду: «Мать честная! Да было б у тебя, дуры молодой, пять дочек-невест, да каждой приданое дай, посмотрел бы я на тебя, как бы ты высчитывала да выгадывала. Отец о счастии дочернем заботится, а в благодарность что получает?» Наконец смертельно оскорбленный Дьяков обрел дар речи и прошипел не в меру зло:

– Не выгадывать, значит? Не буду! Выдам тебя за первого, кто посватается, будь это хоть нищий с паперти! Поняла? За первого! Так что сиди под окошком и выглядывай своего суженого!

Крепко его обидело упрямство дочери. Так что на все готов был, только бы ее обломать.

– Алексей Афанасьич, свет мой батюшка! – прошептала ужаснувшаяся супруга. – А ну как и впрямь присватается какая-нибудь сила нечистая?! Опойка либо старик? Неужто дочкину жизнь поломаешь?

Обер-прокурор коротко рыкнул что-то нечленораздельное, и жена отстала.

Ночь прошла в тревогах. По приказу Дьякова сторожей, что ходили вокруг двора дозором, увеличили числом вдвое. Отец

боялся, что Машенька вдруг да ударится в бегство к Львову. Бывало такое, что девки венчались с женихами, не желанными родителями, увозом, убегом, уходом. Кому было знать об этом, как не обер-прокурору, ведь порою такие истории до суда доходили… Нет, этого позора в своем доме он не допустит, даже если придется Машу скрутить по рукам и ногам. Жене и младшей дочке Дашеньке Дьяков приказал неотлучно находиться при ослушнице, спать в одной комнате с нею. В глубине души он еще испугался мятежного блеска ее глаз. А ну как не побоится греха и что-нибудь над собой учинит?..

Ох и крутился Алексей Афанасьевич той ночью в постели, ох и поджаривался на горячей сковородке своих мыслей и страхов! А поутру, едва позавтракали, доложили, что прибыл гость. Господин Хемницер просит принять.

Дьякова аж перекосило.

Иван Иванович Хемницер служил при Соймонове, директоре Горного училища, состоял в числе членов ученого собрания при сем училище, носил звание обер-бергмейстера и переложил на русский язык сочинение академика Лемана «Кобальтословие, или Описание красильного кобальта». И тоже был пиит! Недавно издал собрание своих басен, о которых сразу заговорили, хотя вышли они без имени автора: то ли поскромничал Хемницер, то ли побоялся, как бы явные намеки на современность не повредили его службе. Против мягкого, приветливого Хемницера обер-прокурор ничего не имел, кроме одного: он был приятель Василия Капниста, а значит, и несостоявшегося женишка – Львова.

Небось хлопотать приехал! Может, не принимать?

Обер-прокурор совсем уже собрался сказать, что нездоров, как вдруг обратил внимание, что лакей слишком уж бледен, чисто мукой присыпан.

– Ты чего трясешься-то, Никиша? – ласково спросил лакея Алексей Афанасьевич.

– Я с его человеком, Федькою, словом перекинулся… – всхлипнул лакей. – Он сказывал, господин-де Хемницер свататься к Марии Алексеевне приехали.

– Мать честная, ну просто покою от женихов нет! – хмыкнул было Дьяков – и подавился смешком, сообразив, отчего так переживает Никиша. Да ведь все домашние слышали его вчерашние угрозы! В том числе и дворовые люди. Хозяин дома не сдерживал голоса, когда орал, да ногами топал, да сулил отдать любимую дочку за первого встречного-поперечного.

Ну вот он и явился не запылился, господин баснописец Хемницер… Суженый Машенькин.

Мать честная, еще ведь и неизвестно, кто хуже, Львов или этот… Эзоп доморощенный!

Но делать нечего. Раз сказано – значит, быть по сему. Слово обер-прокурорское крепче камня!

– Проси подождать, приму скоро, – выговорил Дьяков хрипло. – А мне – одеваться!

До последней минуты он надеялся, что у Хемницера какие-то иные надобности, иные дела. Что прибыл он именно к обер-прокурору Дьякову, а не к Алексею свет-Афанасьевичу, отцу девицы Марии Алексеевны.

Напрасно надеялся.

Выслушал сбивчивое предложение руки и сердца, зажмурился, словно в ледяную воду кинуться собрался, и тяжело уронил:

– Согласен. Берите за себя девку!

Хемницер глаза так и вытаращил. Не ждал, видимо, скорого согласия. С испугу да от изумления начал бекать и мекать:

– Да как же… да что же… А согласия Марии Алексеевны не надо ли спросить?

– Никуда не денется она, пойдет с вами под венец. – И крикнул: – Никиша! А ну, зови Машку!

Спотыкаясь от волнения, лакей ушел. Спустя некоторое время появилась дочь: в лице, совершенно как у Никиши, ни кровинки, губы поджаты, глаза опущены. Следом семенила перепуганная мать.

– Ну, Машенька, – откашлявшись, изрек обер-прокурор. – Вчера я тебе посулил найти жениха хорошего. Вот Иван Иванович тебя сватает. Я не против твоего счастия. Совет вам да любовь. Подать икону, благословлю жениха с невестою!

Он думал, Машка сейчас без чувств грянется или в слезы ударится, однако она даже не шелохнулась, и в лице ее ничто не дрогнуло.

– Благодарствуйте, батюшка, – выговорила чуточку охриплым голосом. – Только дозвольте мне с *женихом* , – при этом слове она блеснула на отца глазами, – одним словом перемолвиться.

Ох, Дьякову бы не слушаться… Дьякову бы скрепиться… но жена ухватила его за руку, лакей услужливо распахнул двери, а Хемницер закудахтал:

– Конечно, конечно, Мария Алексеевна, нам с вами непременно нужно поговорить!

Дьяков и сам не помнил, как вышел за дверь. Плюхнулся в другой комнате в кресло, чуя недоброе…

Не прошло и пяти минут, как дверь распахнулась и вышел Хемницер – ну и ну! Краше в гроб кладут!

– Великодушно извините, ваше высокопревосходительство, – пробормотал жених чуть слышно. – Однако я осознал, что поступил опрометчиво, домогаясь руки и сердца Марии Алексеевны. Сия прекрасная девица не для меня. Я оной недостоин. Прощайте!

И опрометью выскочил вон, словно боялся, что обер-прокурор сейчас опробует на нем крепость своей трости. А у того, что уж и говорить, такое искушение было, было…

Однако лишь захлопнулась за беглецом одна дверь, как в другую вошла Маша.

– Милый, любезный батюшка, – проговорила она твердым голосом, – коли не хотите более позору для нашего имени, дозволяйте мне самой на жениха поглядеть прежде, чем вы нас благословлять приметесь!

И вышла вон.

Дьякова тогда чуть удар не хватил… Не стоит описывать всех слов, какие он вслед дочери выкрикнул. Дело дошло до того, что пришлось за лекарем посылать и пиявки к вискам ставить, чтобы вскипевшую кровь оттянуть!

Однако ничего, к ночи ему полегчало.

Да уж, вот Карфаген так Карфаген…

Да что ж она такого сказала Хемницеру? Но узнать об сем не удавалось. Так и не удалось.

Сначала Алексей Афанасьевич мечтал высечь строптивицу или в монастырь отправить. Уплакала жена, улестили Капнист да граф Стейнбок. Да и у него самого постепенно улеглась злоба против любимицы. И с тех пор, встречая очередного претендента на Машенькину руку (они не обходили дома Дьяковых!), он прежде звал дочку. И заранее знал – дело кончится отказом.

Так прошло четыре года, и постепенно жениховская тропа к Машеньке стала зарастать травой. Ну а как же – двадцать восьмой годок пошел девице Дьяковой! Она ведь не девица уже, старая дева!

Жена точила слезы. Машенька ходила с горделивым, надменным видом мученицы. До Дьякова то в одном, то в другом доме доходили слухи о новых стихах, коими полнились девичьи альбомчики:

Нет, не дождаться вам конца,
Чтоб мы друг друга не любили.
Вы говорить нам запретили,
Но, знать, вы это позабыли,
Что наши говорят сердца…
Понятно, кому сии строки принадлежали!

Господин обер-прокурор злился, бранился, сделался крут на расправу со слугами – и с каждым днем все отчетливей понимал, что сам погубил жизнь своей дочери. И почти с облегчением встретил зятьев, Капниста да Стейнбока, которые однажды на пару заявились в дом, приперли тестя к стенке и потребовали – потребовали! – принять очередное сватовство Николая Александровича Львова благосклонно, чтоб две жизни, его и Машину, вовсе не губить.

И наперебой начали перечислять его достоинства. Дьяков, набычась, выслушивал: Львов-то уже не простой чиновник VIII класса, а коллежский советник, член Российской академии, самый обещающий архитектор столицы – его проект собора в Могилеве одобрен Екатериной II, а австрийский император Иосиф II подарил ему золотую с алмазами табакерку в знак восхищения его архитектурными новациями. Утверждены к строительству проекты Невских ворот Петропавловской крепости и здания «Почтового стана» – главпочтамта в Петербурге. Государыня после совместного путешествия по России расположения к Львову не скрывает; граф Безбородко ему покровительствует и гордится дружбой с ним; цесаревич Павел Петрович жалует его своим доверием. Известнейшие служители муз – поэты, художники, музыканты: Державин, Храповицкий, тот же Хемницер, Муравьев, Капнист, Оленин, Левицкий, Боровиковский, Фомин – во всеуслышание называют Львова гением вкуса, уверяют, что «приговор его превращают себе в закон».

Боже мой, почти в испуге думал Дьяков. Откуда что взялось? Как же так вышло, что он ничего не слышал о бурных, невероятных успехах «несолидного человека» Львова?! Да ясное дело: просто слышать не хотел.

– Милый ты мой Алексей Афанасьевич, светик, – сказала, заплакав, жена. – Да пусти ты Машеньку замуж за ее Львовиньку! Ну ведь помрет доченька, отцветет попусту… Не бери греха на душу, не губи милушку нашу!

Дьяков огляделся, набычившись, и – махнул рукой:

– А ну вас! Делайте что хотите!

За дверью послышался тяжелый звук. Дьяков догадался, что дочка подслушивала под дверью и теперь грянулась без чувств, и заплакал от облегчения, что все уже позади…

И вот он сейчас везет Машеньку в церковь, где ждет ее жених. Везет венчаться свою любимую дочь, а сам понять не может, отчего так бледно ее лицо, отчего она вроде бы и не радостна.

Может, раздумала? Кто их разберет, девок нынешних? Они все такие, ну уж таки не Дидоны!..

А вот будет смеху, ежели Марья в церкви вдруг скажет: не хочу-де за Львова, не стану венчаться с ним, передумала!

Дьяков мысленно перекрестился: Господи помилуй, ну уж этого он не переживет, точно не переживет! Да пусть Машка попробует зауросить! Он ее своими руками под венец потащит! Пинками, а выдаст за Львова!

Для венчания выбрали церковь в Ревеле, где жил граф Стейнбок и его жена Екатерина. В их огромном доме решено было устроить свадебный пир. Однако по категорическому настоянию жениха и невесты на венчании должно было присутствовать лишь самое малое количество народу, не более десяти человек самых близких родственников и друзей.

Сначала Алексей Афанасьевич ничего против этого не имел, однако сейчас ему во всем виделось недоброе…

Когда карета с невестою и ее отцом въехала на церковный двор, Дьякова поразили вытянутые лица собравшихся. Жена, прибывшая загодя, была явно не в себе и то и дело промокала платочком глаза. У дочек и сына Николая лица были такие, словно никто из них не знал толком, смеяться или плакать. Только Александра Алексеевна, жена Капниста, улыбалась и задорно поглядывала на мужа.

Василий Васильевич Капнист заторопился к тестю. От него не отставал и Львов, и Дьяков услышал, как Маша глубоко вздохнула при виде озабоченного жениха.

«Ой, что сейчас будет…» – обреченно подумал обер-прокурор, сердце которого вдруг сжалось от недоброго предчувствия.

– Не сказала еще? – прошептал Львов, целуя руку невесте и исподтишка заглядывая в ее прекрасные голубые глаза.

Она покачала головой, шепнула дрожащими губами:

– Не осмелилась. Вы уж с Васенькой сами скажите.

– Батюшка, – сухо кашлянув, проговорил Капнист. – Мне следует вас осведомить…

– Нет, погоди, Василий, друг, лучше я! – Львов решительно шагнул вперед. – Простите великодушно, сударь, Алексей Афанасьевич, но… но обстоятельства так складываются, что мы с Машенькою ныне повенчаны быть не можем. И никогда уже не сможем. Никак…

Санкт-Петербург, 1779 год

– Батюшка, – робко сказала Маша, – вы все говорите,

Николай-де Александрович человек легкомысленный, а он по службе семимильными шагами продвигается. К нашему посольству в Испании причислен…

– Ну и пускай едет в свою Испанию! – фыркнул Дьяков. – Самое ему там место!

Маша опустила глаза. Сашенька и ее жених Василий Васильевич Капнист переглянулись, но промолчали, ни словом не поперечились.

– Опаздываем, господа хорошие! – сказал Дьяков, весьма довольный таким послушанием. – Ведь не к кому-нибудь на бал званы, а к самому Безбородко! Негоже опаздывать к министрам. А мне еще по пути надобно в Сенат заглянуть…

– Да вы поезжайте по своим делам, сударь, – сказал Капнист. – А я Сашеньку с Машенькой сам на бал доставлю, в своих санях. Там с вами и встретимся.

– Хорошее дело! – обрадовался Дьяков тому, что не придется всю дорогу смотреть в обиженные глаза дочери, и укатил.

Лишь только за ним закрылась дверь, как молодые лица оживились, словно по волшебству.

– Ну, скорее! – велел Капнист. – Нам еще Свечина по пути забрать.

Сашенька схватила сестру за руку и повлекла к лестнице.

Разместились в санях.

– В Галерную гавань! – велел Капнист вознице и подмигнул.

Тот улыбнулся в ответ и разобрал вожжи.

Покатили.

– Третьеводни, – вдруг сказала Сашенька с самым невинным видом, – у Пономаревых видела список новых стихов:

Мне и воздух грудь стесняет.
Вид утех стесняет дух.
И приятных песен слух
Тяготит, не утешает.
Мне несносен целый свет —
Машеньки со мною нет…

– Хорошие стихи, – солидно произнес Капнист. – А кто автор?

– Имени автора не называли! – Тут Сашенька не удержалась и хихикнула.

– А Львовинька меня в Испанию звал – тайно венчаться… – промолвила Маша.

– Зачем так далеко? – отозвался Капнист.

За поворотом линии маялся Свечин, общий приятель Львова и Капниста. Завидев подъезжающих, просиял, замахал руками,

вскочил в сани, сестрицам ручки расцеловал, Капниста хлопнул по плечу, ну а вознице, конечно, подмигнул.

Подкатили к маленькой церквушке в Галерной гавани.

У крыльца топтался… Львов.

Засиял, кинулся к саням, подал руку Маше, но не утерпел, выдернул ее из саней, прижал к себе…

Сашенька хихикнула, Капнист деликатно отвел глаза.

– Непорядок, – солидно сказал Свечин. – Невесту вести к алтарю – дело посаженого отца. Мое, стало быть! А ты, Николаша, иди, иди, ты нас в церкви встречать должен.

Львов, бросив пылкий взгляд в Машины испуганные глаза, ринулся в церковь. Спустя некоторое время чинно, медленно прошли две пары: Свечин с Машей и Капнист с Сашенькой. В церкви уже ждали священник и брат Львова, Федор, который и стал шафером у жениха. Венец над Машей держал Капнист.

Новобрачные обменялись кольцами, которые надеть на пальцы было невозможно: и Маша, и Львов будут носить их до поры до времени на шее, рядом с крестильными крестами.

– Ну вот, – пробормотал Капнист, пожимая руку счастливому другу. – А вы говорите – в Испанию бежать! Небось и на Руси церкви не перевелись. А ты пишешь: «Машеньки со мною нет…» Вот она, с тобой теперь.

«С тобой», да не совсем: муж и жена поцеловались… и разъехались. Львов с братом и Свечиным – к нему на квартиру в Почтовом ведомстве, ну а Капнист с сестрами, одна из которых пока еще оставалась Дьяковой, а другая теперь уже стала Львовой, поспешили к дому Безбородко.

На крыльце, словно нарочно, столкнулись с Дьяковым.

– Что столь долго-то?! – удивился он.

Сашенька так и вцепилась в руку сестры. Ой, что будет! Однако Маша была совершенно спокойна:

– Простите, батюшка. Веер отыскать не могла, вот и задержались.

– А, ну-ну… – пробормотал Дьяков и вошел в дом.

Капнист обернулся к вознице и подмигнул на прощанье.

Тайну сего венчания участники его хранили свято – не год и не два, а четыре года!

Никто из людей посторонних и помыслить не мог, отчего блестящая красавица Мария Дьякова дает от ворот поворот одному жениху за другим. Открыла она правду только человеку, который истинно сходил по ней с ума – так же, как она сходила с ума по Николаю Львову. Имя этого человека было – Иван Хемницер…

Сердце его стало отныне заперто для любви. Одна Маша жила в нем – однако и дружеские чувства к Николаю Львову он не смог забыть. Он мечтал уехать из России – Львов помог ему в этом, оказав протекцию у Безбородко. Летом 1782 года Хемницера назначили на должность генерального консула в Смирне. Он не чувствовал ни малейшей склонности к дипломатии, однако дело свое исполнял исправно. Хемницер постоянно писал Львову, спрашивая, открылись ли их с Машею обстоятельства, или все еще продолжается «комедия».

«Четвертый год, как я женат… легко вообразить, извольте, сколько положение сие, соединенное с цыганскою почти жизнию, влекло мне заботы, сколько труда… Недостало бы, конечно, ни средств, ни терпения моего, если бы не был я подкрепляем такою женщиной, которая верует в Резон[3], как в единого Бога», – с горечью отвечал Николай Александрович другу своему.

Хемницер еще успел узнать о том, что «комедия» благополучно разрешилась. Но никому не ведомо, обрадовала ли его весть эта или, напротив, стала его последним, предсмертным огорчением: он скончался в Смирне в 1794 году от пустяшной заразы.

Подозревал об истинности отношений Львова и Марии Дьяковой и еще один друг Николая Александровича – художник Дмитрий Левицкий, преподававший в Академии художеств класс портретной живописи. В 1778 году он получил заказ от обер-прокурора – написать портрет Машеньки. Красота этих голубых глаз, этих нежных губ, этого мягкого овала лица, этих темно-русых пышных волос поразила его в самое сердце. С нежностью и восхищением выписывал он каждую атласную складочку, каждую кружевную волну ее наряда, каждую шелковую ленточку.

Граф Сегюр, увидев этот портрет в мастерской художника, написал на обороте его:

Как нежна ее улыбка,
Как прелестны ее уста,
Ничто не сравнится с ее изяществом…
В ней больше очарования,
Чем смогла передать кисть.
А в сердце даже больше
добродетели,
Чем красоты в лице.

Левицкий выразил свою любовь в этом портрете Маши и еще в одном, написанном спустя несколько лет… незадолго до того дня, когда камень, называемый «сердце обер-прокурора и

бригадира Алексея Афанасьевича Дьякова», дал-таки трещину!

Санкт-Петербург,

1783—1807 годы

Еще недавно, в 1781 году, отправившись в Италию по поручению императрицы, пожелавшей увеличить коллекции Эрмитажа, Николай Львов в своем дневнике среди деловых заметок уныло записал:

Уж любовью оживился,
Обновлен весною мир,
И ко Флоре возвратился
Ветреной ее Зефир.
Он не любит и не в скуке…
Справедлив ли жребий сей —
Я влюблен и я в разлуке
С милою женой моей.
Счастье будет. Вот только – когда?
И вот наконец настал этот миг!

И что же? Львов и Маша стоят в Ревеле на церковном крыльце и заявляют потрясенному отцу, что венчаться не могут и не станут… потому что они уже обвенчаны!

Какой пассаж! Какой, однако, пассаж, господа!

Хочешь смейся, хочешь плачь.

Обошлось без слез и смеха, впрочем. Пока обер-прокурор еще не пришел в себя и не начал, по своему обыкновению, кричать и проклинать, Львов заявил, что привез в церковь пару крепостных, юношу и девушку, которые немедля желали бы пожениться. Обряд венчания будет соблюден, а о том, кого там, собственно, венчали, будут знать только самые близкие. И в интересах самого же Алексея Афанасьевича помалкивать – и теперь, и впоследствии.

Алексей Афанасьевич не издал ни звука.

«Старею!» – подумал он, дивясь сам себе.

«Наконец-то поумнел!» – подумали остальные.

После свадебного пира у графа Стейнбока, в доме которого «молодые» провели «первую брачную ночь», Львов отвез Машу в свою казенную квартиру Почтового стана, куда она прежде несколько раз прибегала лишь украдкой. Однако теперь

следовало заняться устройством собственного поместья под Торжком – в деревне Черенчицы. Дом еще не был достроен, когда Маша родила там их первого сына Леонида, своего рода тезку отца: ведь имя это в переводе с греческого означает «сын льва», «из рода львов». Ну что ж, поэты остаются поэтами, игры в слова они обожают!

Вскоре Львов превратил деревенский дом на берегу болотистой Овсюги в усадьбу – один из своих архитектурных шедевров.

Он был ведущим зодчим своего времени. Около ста архитектурных построек создано по проектам Львова в Санкт-Петербурге, Москве, Могилеве, Смоленске и, конечно, в Торжке и Новоторжском уезде.

Девятого июня 1785 года в Торжке состоялся праздник: в древнем Борисоглебском монастыре закладывали новый собор по проекту Львова. Сама императрица Екатерина вооружилась серебряными молоточком и лопаточкой и уложила первый камень.

Храм этот построен в стиле русского строгого классицизма и гармонично вписался в общий вид монастыря. Причем, откуда ни погляди на него, он смотрится по-разному: со стороны реки открывается легкий силуэт, а от въездных ворот видны два монументальных фасада. И в Борисоглебском соборе, так же как и в могилевском, Львов воплотил свою любимую идею: двойной купол.

Римские зодчие придумали открытый в небо купол-фонарь, и эта находка очаровала Львова. Однако в русском климате такое архитектурное решение было невозможно, поэтому Львов нашел свое: сквозь круглый вырез темени нижнего свода видно нарисованное небо верхнего, освещенное с помощью невидимых окон между сводами.

Львов также продумал интерьер собора: пол из чугунных плит, колонны и стены отделаны «под мрамор» палевого цвета, все тридцать семь икон для главного иконостаса «писаны на казенный счет В.Л. Боровиковским», замечательным портретистом и живописцем.

Многое из творений Николая Александровича разрушено временем и людьми, но на главной площади Торжка, на берегу Тверцы, и поныне стоит стройная двенадцатиколонная ротонда – излюбленная архитектурная форма Львова. Множество дворянских усадеб в окрестностях Торжка созданы по его проектам или при участии Львова, одержимого мечтой о гармонии архитектуры с природой и человеком. Именно поэтому его излюбленным отделочным материалом был «дикий» камень-

валун. Он часто строил арочные мосты с затейливыми гротами – создавал истинные каменные симфонии.

Невозможно простым умом вообразить и осмыслить прихотливость его придумок. Это настоящая фантастика, которая заслуживает не простого перечисления, а капитальных исследований. Тщательность, с какой Львов подходил к планировке того или иного дома, поразительна. Предусматривалось все, от внутреннего оформления комнат до проведения по необходимости дренажных работ и строительства хозяйственных построек!

Между прочим, Дьяков был не прав, когда называл его «неучем». Конечно, Львов никогда и ничему не учился нарочно: вот выучусь, к примеру, на архитектора и стану им! Он просто-напросто был гениальным самоучкою.

В Петербурге Львов проектировал и строил Главпочтамт, Приоратский дворец в Гатчине, Невские ворота в Петропавловской крепости, дом Державина на Фонтанке, уникальную Троицкую церковь… В Москве – это дом Воронцова на Немецкой улице, парк на Воронцовом поле, усадьба Лопухиных Введенское в Звенигороде… Многое, очень многое из тех построек, в которые вдохнул жизнь Николай Александрович Львов, ушло, к сожалению, в небытие. Или, как Готический корпус в Кремле, изменено позднейшими перестройками.

Один из лучших друзей Львова, Гаврила Державин (женившийся, между прочим, на Машиной сестре Дашеньке), писал:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Это все верно, конечно. Но Львов-то был убежден, что строит на века! Во всех его творениях чувствуется спокойная уверенность человека, вполне счастливого и довольного. Ведь, по его собственному признанию, Львов был «на счастии женат»!

Для того чтобы его «счастию» жить было хорошо и удобно, чтобы привольно росли дети Леонид, Александр, Елизавета, Вера, Прасковья, в центре своей усадьбы, на пригорке, он поставил трехэтажный дом с бельведером, оснащенный немыслимыми по

тому времени удобствами: водоподъемная машина подавала воду на второй этаж, отапливался дом по «воздушной» системе, которую Львов сконструировал и описал в книге «Пиростатика воздушных печей». Ведь, по мнению Львова, «та печь лучше, которой совсем не видно. Ее дело греть, а украшать печами комнаты последнее дело…» Камины также были особого устройства – своего рода кондиционеры: через отдушины в наружной стене дома поступал свежий воздух; затем он, проходя через змеевик камина, нагревался, по каналу поступал в своеобразные вазы, что стояли рядом с камином, наполненные розовой водой или душистыми травами. Через решетки ваз свежий, теплый дух наполнял комнаты.

Задолго до появления водяного отопления Львов изобрел для своего дома «паровую кухню» – пар варил кушанья, мыл посуду, вращал вертела. Дом был удобным и уютным. Мария Алексеевна оказалась не только чудесной певицей, но и рукодельницей: смастерила необыкновенные обои, расшитые разноцветной шерстью по соломе.

Жилось здесь не только удобно, но и весело: часто устраивали любительские концерты, пели народные песни и романсы. Две дворовые девушки Львовых, Дашенька и Лизанька, славились своими голосами, да и дочери поэта Елизавета и Вера не отставали от них. Был также хор и оркестр из крепостных, для которого он сам готовил капельмейстера – мальчика, обучавшегося у Сарти. Львов писал жене: «Для него (Алексашки) и двух моих девочек напишу я маленькую драму и пришлю к твоему песнословию; а теперь посылаю к тебе готовую почти оперку, для того чтобы дать тебе работу и практику, положить инструменты к тем голосам, у которых оркестра не отыскалось. Потрудись, зимою привези, и мы заиграем: 48 человек музыкантов к твоим услугам».

Правда, всеми этими радостями сам хозяин мало пользовался: он постоянно был в разъездах по геологическим изысканиям, строительству, издательской деятельности.

С любимыми прощусь
И только с одной
Женой не разлучусь, —

в утешение писал он Маше, с которой, увы, разлучался слишком часто, но не по своей воле, а по государственным надобностям.

Николай Александрович обладал счастливым даром быть любимым правителями. Екатерина привечала его, несмотря на то

что он был своим человеком и в Гатчине, у наследника Павла Петровича. Настороженный, против всех тайно озлобленный, цесаревич испытывал непонятное, необъяснимое, спокойное доверие к Львову. И вот сколь далеко оно простерлось.

Как известно, отец Павла, покойный император Петр III, остался некоронованным, и Павел, едва взойдя на престол, решил исправить историческую ошибку. Львов был послан в Москву, в Успенский собор, за царскими регалиями. Еще не была погребена Екатерина, когда гроб с телом Петра Федоровича отрыли и возложили на него знаки царского величия – короновали и снова зарыли. А Львов был послан отвезти регалии обратно.

Павел доверял Львову потому, что тот был масоном. В те времена орден привлекал людей образованных, одержимых желанием устроить счастье человечества с помощью плодов просвещения. Сам Павел принадлежал всеми своими помыслами Мальтийскому ордену и тоже мечтал о гармонии на земле вообще и в России в частности. Одно дело, что представления бедного императора об этом счастье были столь же убогими, как и его собственный ум.

Другое дело – ум, разум, таланты его наперсника!

Неведом и конец нам – вечности начала;
Не разрушается ничто, не исчезает!
Дай мне пожить еще немного,
Ведь каждому своя дорога… —

так писал Львов одному из друзей.

Дорога? Нет, у него было множество дорог, по каждой из которых он успел пройти дальше, чем обычный человек успеет пройти по одной!

Николай Львов сконструировал бумагоделательную машину, впервые в России разработал добычу торфа и каменного угля, издал книгу «О пользе и употреблении русского каменного угля», изобрел «каменный картон» – рубероид, толь. Заботясь о сохранении леса, он изобрел способ «землебитного строительства»: из «битой» – прессованной, скрепленной известковым раствором – земли, а также открыл два училища землебитного строительства и по заказу императора Павла I построил землебитный Приоратский дворец в Гатчине, сохранившийся и поныне. Львов создал проекты почтовых станций, мостов, верстовых столбов для дороги Санкт-Петербург – Москва. В 1790 году Львов издал «Собрание русских народных песен с их голосами» в музыкальной обработке Прача, стал автором либретто опер «Сильф», «Ямщики на подставе»,

«Милета», «Парисов суд». Он отредактировал и издал две летописи, одна из которых была названа его именем – Львовская; перевел и издал «Четыре книги Палладиевой архитектуры», переводил Сафо, Анакреона, Петрарку и скандинавский эпос «Песнь норвежского витязя Геральда Храброго»; иллюстрировал «Метаморфозы» Овидия и «Сказку о царевиче Хлоре», сочиненную Екатериной II для внука Александра; занимался гравированием и первым в России применил технику лависа; разработал эскиз ордена Святого Владимира. Львов возглавлял экспедицию по обследованию минеральных вод Кавказа и Крыма, где он вел экономические исследования, археологические изыскания и составил «Примерное положение, каким образом выгодно бы было выстроить ванны и теплицы у горячих вод».

Эпитеты уму и талантам этого человека нанизывать можно до бесконечности. Ей-богу, так и чудится: его, словно нарочно, судьба приводила в некие средоточия событий вселенской важности, наталкивала на судьбоносные открытия!

Но… как ни щедры к нему были боги, сей невероятный разум и божественный дух обитали в обычном человеческом теле – хрупком и несовершенном. Смертном.

В 1799 году после смерти Безбородко на Львова завели дело по поводу расходов на землебитные постройки.

Таков уж крест всякого гения – непременно быть предметом зависти и недоброжелательства. Землебитное училище закрыли, уголь, доставленный в Петербург, не был принят. Оборота капитала не было, росли долги.

Иной вселенную обмерил,
Другой ход солнечный проверил,
Измерил самый океан;
Нашел полночну стрелку,
А что же вышло на поверку…

«Что? – Продырявленный карман», – с горечью подводил он итоги жизни.

Длительное нервное напряжение, обрушившееся на Николая Александровича, сильно подорвало его здоровье. На десять месяцев он оказался прикованным к постели.

«Десять месяцев он был мертвый, – писала Мария Алексеевна старинному другу Державину, – и теперь говорит, что он совершенно забыл всю прошедшую жизнь свою и что истинно для него теперь новый век». В конце 1800 года в дневнике вновь научившегося писать Львова появилась неровная строка: «1-ый день второй моей Жизни Москва 1800».

Чуть позже он написал об этом страшном времени: «Все мне представлялось, пришел я с того света, и в тот вечер я плакал, как ребенок. Я должен буду везти кости мои в Петербург, как скоро в состояние приду недвижим лечь в возок». Львова страшило видение его прикованной к постели плоти. Он даже молил о смерти в стихотворении «Три нет». «Ребятушки, я здесь уж больше не гожусь!» – воскликнул он, но получил в ответ именно эти три «нет». Львов будто услышал чей-то голос: ему предстоит еще дальняя дорога.

Так дальняя дорога заведет его, сумевшего выбраться «с того света» и подняться для новых дел, на Кавказ, к оживляющим источникам, и к Тмутараканскому камню. Об этом невероятном событии стоит рассказать чуть подробнее.

Еще в 1792 году на полуострове Таманском, на землях древней Фанагории, колонии греческих купцов, торговавших здесь в V веке до н.э., был случайно и странно найден Тмутараканский камень, лежавший… у солдатской казармы. Расшифрованная надпись указывала местоположение Тмутараканского княжества, о котором упоминается и в летописях, и в «Слове о полку Игореве». И вдруг камень бесследно пропал – так же внезапно и странно, как был найден. Минуло одиннадцать лет, и вот, оказавшись в Тамани по пути в Крым с целью «устроения и описания разных необходимостей при тамошних теплых водах», Львов за оградой Фанагорийского собора обнаружил пропавшую реликвию.

Нет, это же надо: камень лежал в траве там, где его мог видеть каждый, но не увидел никто, кроме него! Над водруженным в храме камнем повешена была такая табличка: «Из былия извел Львов».

Такое ощущение, что он сам себе «из былия возвел» прижизненный памятник, явившийся именно ради него из тьмы времен, которой мы все принадлежим и в которую все мы непременно канем.

В Феодосии Николай Александрович снова заболел. Однако успел доехать до Москвы – здесь и умер в ночь с 21 на 22 декабря 1803 года в возрасте 52 лет. Маша, которой помогала верная Лизанька, была при нем.

Мария Алексеевна умерла в 1807 году, словно дожидалась, пока ей тоже сравняется 52 года. Ее похоронили рядом с тем, кто был смыслом ее жизни.

Опекунами детей Львовых стали Державины: Гаврила Романович и его жена Дарья Алексеевна, урожденная Дьякова.

В 1810 году Державин приехал в Черенчицы-Никольское – поклониться праху друзей. Престарелый Гаврила Романович был

необычайно грустен, ибо в определенном возрасте мысли о смерти, и всегда-то невеселые, не могут не навевать глухой, непроглядной тоски.

Он ехал на могилу людей, которые клялись любить друг друга *вечно* , а где они теперь? И где их любовь? Об утес времени разбивается даже самая пылкая страсть, и самые благие намерения, самые смелые мечты всегда заканчиваются только эпитафией… Так подумал поэт – и решил сложить подобающую надгробную надпись своим друзьям, истории их любви, их счастья и страданий.

Стояла зима. Державин задержался у холма, на котором возвышался храм Воскресения, выстроенный в прекрасном стиле тех же ротонд, которые так любил Николай Львов. В подземной части храма находилась родовая усыпальница Львовых, в мощном цокольном этаже из темных блоков колотого валуна помещалась Никольская церковь, над ней вздымался храм Воскресения.

Вечернее бледное солнце золотило купол и заходило как бы в храме. Державин вспомнил мечты своего друга: «Я всегда думал выстроить храм солнцу, чтобы солнце в лучшую часть лета сходило в дом свой покоиться». И еще вспомнил стихи его:

Родился,
Влюбился,
Женился
И жил, пока любил.

Державин вздохнул, перекрестился… и пошел прочь, слагая в уме такие строки:

Да вьется плющ,
И мир здесь высится зеленый,
Хор свищет соловьев,
Смеется пестрый луг.
Не может быть эпитафии у *вечной* любви!

notes

Примечания

1

Дидон а – царица Карфагена, персонаж поэмы Вергилия «Энеида».

2

«Ода по случаю заключения мира между Россией и Оттоманской Портой в Кунарджи 10 июля 1774 года» (франц.).

3

Н. Львов употребляет здесь это слово в смысле высшей справедливости.